
Александр ПЯТКОВ

РАССКАЗЫ

ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ...

Прадед мой, Даниил Михайлович, в конце жизни начал писать о войне. Бумаги эти не сохранились. После смерти прадеда о них долго не вспоминали, а когда хватились — ничего не нашли.

Даниил Михайлович был человек серьезный и молчаливый.

— И слова не скажет какого. Все молчком, — рассказывала бабушка. — Мы ведь к ним когда приехали, он, что ни день, молчит. Вот какой! Спросишь чего — рукой махнет. Свекровь-то мне говорит потом, мол, он и со мной так — ни слова не скажет. Я Олю в угол поставила когда, он пришел, посмотрел, да и рукой махнул. Вот какой.

От станции до прадедова дома они ехали на крестьянской подводе. Дорога лежала ровная и пыльная, почти степная, ни косогулов, ни оврагов. И везде, куда ни посмотри — зарастающие, необсеянные поля. Бабушка, сама крестьянка, и через пятьдесят лет после той поездки не переставала горевать и вздыхать об этом.

После смерти прадеда прабабушка перебралась из Ишутина в городок Мещовск, к одной из своих дочерей. Похоронили Клавдию Алексеевну в городе. Прадед же лежит на родном погосте.

В Ишутине я ни разу не бывал. Давно там не бывала и Анна Даниловна, единственная из многочисленных детей прадеда, кто еще был жив. Ей девяносто лет. На выцветшей фотографии, которую бабушка привезла из той, теперь уже далекой поездки, Анна Даниловна стоит рядом с Даниилом Михайловичем. Полная, веселая, с растрепанной связочкой, должно быть, наспех сорванных ромашек.

В недавно пришедшем письме, она сказывала — так там и было написано «сказываю», — что сил идти в Ишутину поклониться родным косточкам и крестикам нету, а везти некому, да и не живет там никто. «Ну да простят меня, простят. Простит Бог», — приписала она в конце. И строго наказала — так там и было написано «строго наказываю» — следить за могилой дедушки, далеко, очень далеко лежащего от отца и матери.

Да и не живет там никто, повторяю я, перечитывая письмо Анны Даниловны. Бабушка говорит, что, когда приехали туда, деревня-то такая небольшая, совсем махонькая была. Ну, дворов двадцать, не больше. А сейчас там уж и не живет никто, наверно. Вот и Анька пишет...

Александр Сергеевич Пятков родился в 1993 году в городе Березовский Свердловской области. Живет и работает там же. Публиковался в журналах «Нева», «Урал», «Знамя», «Дружба народов» со стихами и рассказами. Принимал участие в мероприятиях, организованных АСПИР и Фондом СЭИП. Лонг-лист премии «Лицей» 2023 года.

Однажды, разбирая хлам, копившийся годами на балконе, я нашел большую картонную коробку.

— Это со свадьбы еще раритет, — усмехнулся отец.

Внутри коробки лежали пыльные, изъеденные иголкой пластинки. Поломанные и потрескавшиеся. Я долго их перебирал, рассматривал, читал незнакомые имена, названия песен и думал, смотря на годы записи: вот жил человек, пел. А потом умер. Прошло пятьдесят, шестьдесят лет, и канул он вместе со своими песнями, радостью, сочувствием, плачем в коробку из-под водки и пыльный балкон.

Была там пластинка Сергея Лемешева, и на одной стороне — «Выхожу один я на дорогу».

Вспомнилось, что в праздники во время застолья дедушка иногда запевал:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

Песню не подхватывали. Ее попросту никто не знал.

— Ну, забурчал, — начинала ругаться бабушка.

Наверное, странно и нелепо выглядело одиночное, неумелое пение нетрезвого человека. Дедушка песню бросал. Где он взял ее — я не знаю. Думается, что от отца — Даниила Михайловича.

И вот я представляю: выходит вечером на улицу прадед. Он выпивши, а точнее — выпимши. Садится на завалинку. Зелены в полях — и донник даже, и черныбыльник — выпрели. Воздух в округе парной, пахучий. Скотина целыми днями ходит по полям без пастухов. Мальчишки только иногда бегают проверить — не стряслось ли чего.

Вот пробежали двое. Крикнули, боязливые, серьезному и суровому деду Даниле:

— Здравствуй, деда Данила!

Даниил Михайлович сидит на завалинке, смотрит по сторонам. Все ли ладно в деревне?

Потом вдруг запоет:

— Вы-хоо-жу один я на доо-роо-гу...

Прокашляется и продолжает:

— Скво-озь туу-ман, — прохрипит постоянно проваливающимся голосом, — кремнис-той путь блестит...

Так он споеет — кремнистой.

...Бывает, окажешься на каком-нибудь Богом забытом полустанке. Вечереет уже. Пройдет электричка, выбросит немногочисленных пассажиров. Один из них, не удержавшись, тут же закурит. Сядет на скамейку, достанет билет. Долго будет смотреть на него, словно не зная, что теперь с этим делать. Уберет обратно в карман. Докурив, опять достанет, поглядит. Скомкает и бросит на платформу. А ветер подберет и понесет, понесет куда-то...

Солнце медленно садится. А ты все сидишь на скамейке. Появится товарняк. Долго тянется цепь вагонов, обдавая одинокого человека на станции низким, приземистым, совсем без запаха, ветром. Внизу, за платформой, проедет кто-то на велосипеде, прошуршит шинами по слежавшейся, ссохшейся без дождей земле. Прошагает за полустанком старик — «умирающий», ищущий «хоть двадцать рубликов». Еще один товарняк покажется вдаль. Погаснет невидимая тебе маковка церкви.

Состав зашумит, проходя мимо, и, сам себя не слыша, вдруг затянешь:

— Вы-хо-жу один я на до-роо-гу;

Скво-озь ту-ман крем-нис-тый путь блестит...

АВТОБУС ПРОХОДИТ ОБРАТНО

Днем старуха лежит на диване. Когда она встает, диван надрывно скрипит. На диване этом старуха, когда еще не была старухой, спала с мужем. После его смерти спала уже одна.

На диване, приезжая в отпуск, спал брат. Умер и он. Здесь же она баюкала внуков. Внуки выросли. Старуха, став старухой, стала спать в другой комнате на скрипучей и продавленной железной койке.

Старуха просыпается рано. Еще в темноте, когда не видно, как чернеют заснеженные гряды на огороде и ветер подметает крышу старой, давно нетопленной бани. Весь зимний, кажущийся долгим день старуха лежит, смотрит в окно, иногда задремывая. Ей и дел других больше нет, как лежать и смотреть в окно или садиться за стол пить молоко, мелко отщипывать хлеб и — смотреть в окно.

Проходит накатанной заснеженной дорогой автобус. Старуха поднимается, идет в другую комнату. Через порог одну ногу переставляет, другую, не в силах поднять, медленно переволакивает. Встает напротив комода, складывает руки на груди, подтягивает друг к другу. Запрокидывает голову.

Комод — резной, тяжелый, с массивными железными ручками. В ящиках — простыни и наволочки, ни разу не использованные, уже потерявшие свою белизну, носки, шершавые полотенца, платки, платочки; деревянные зубные щетки, баночка с зубным порошком; коробка цветных карандашей... На комод — складное зеркало, иконы, лампадка. Над комодом на стене будто приклеенные к бумажным обоям часы.

Начинает смеркаться. Старуха встает с дивана, плетет маленькие шажки к столу, то и дело цепляя ногами края цветастых половиков. Садится на табуретку. Тянет из-под стола по хлебным крошкам калоши, надевает. Потом — сидит, пьет молоко из детской, с красными петушками, кружечки. Из нее когда-то пил молоко внук. Перебирает чайной ложечкой творог, давит, пальцем сбрасывает в тарелку. Тарелка маленькая, железная, с цветочками на ободке. Из нее когда-то ела творог внучка.

Проходит заснеженной дорогой автобус. Проходит обратно. Скрипят тормоза, взбрыкивает мотор. Старуха этого не слышит. Это мог бы услышать сосед, но он на работе.

Загорается на столбе фонарь. Раньше надо было ходить через дорогу, включать его. Теперь он загорается сам. Раньше у старухи была корова, свое молоко, свой творог, но надо было просыпаться в четыре утра. Теперь молоко и творог привозит сын. И не надо рано просыпаться. Старуха стала просыпаться позже, но за окном все равно темно.

Приезжает сосед — дом его напротив. Он выходит из машины, оглядывается. Открывает тяжелую дверь, заходит. Потом — идет, даже не переодевшись, на колонку. Гремят, бьются друг о друга цинковые ведра. Во дворе у старухи на стене дома висит коромысло. Но о нем она не вспоминает. Сосед идет, переваливаясь, обратно. Хлопает дверью.

Иногда проедет машина — вжик! И никого, ничего — до следующего автобуса.

Вот уже и совсем зимний, непроглядный, если бы не фонарь, вечер. А может, это окошко так заиндевело. Проходит автобус, скрипит тормозами. Старуха смотрит в окно. На столе — кружка с молоком. В тарелке пряник.

Скрипят, поскрипывают шаги по снегу. Кто-то подходит к окну, стучит, барабанит костяшками пальцев по стеклу. Мелко — как снег идет. Старуха вздрагивает, недоверчиво вглядывается, вглядывается... Вглядывается — это сын приехал. Она дожевывает

ет кусочек пряника, запивает молоком и плетется открывать. Старуха зажигает свет, надевает телогрейку. Пальцы путаются в пуговках, старуха застегивает только две из них. Накидывает платок, кое-как наматывает шаль. Спускается по крыльцу. Стук. Стук. И — к двери, медленно, не пасть бы, перебирая калошами по двору.

— Чего так долго шаперишься? — спрашивает сын, заходя.

И уже в доме:

— Чего в темноте сидишь? Огня не зажигаешь...

Усы его заиндевели на морозе. Да и сам он, наверное, замерз.

— Фу ты, какая холодина! — говорит.

Старуха, не раздевшись, садится на диван.

Сын первым делом идет по воду. Потом выносит ведро из комнаты и ведро из-под умывальника. Старуха сидит, сложив руки на коленях.

Сын ставит чайник на плиту, раздевается. Старуха все сидит.

— Чего сидишь, не раздеваешься?

Она скидывает телогрейку, обрывая пуговицу. Шаль, платок. Калоши все-таки не снимает.

— Хороший? Ты хороший? — спрашивает.

— Хороший, хороший, — снисходительно улыбается сын.

— А мама хороший?

— И мама хороший! Здоровы все, — смеется он.

— Ой! Ой! Слава богу! — восклицает старуха. Радуясь, складывает руки на груди. —

А я думала!

— Вот тебе молоко. Вот творог. Вот пряники. Вот мать суп сварила, кушай, — выкладывает сын продукты на стол. — Подогреть супчику?

— Нет! Нет! — машет рукой старуха. — Нет. Не голодная. Не голодная.

— Давай подогрею.

— Нет! Нет! Не буду, — мотает она головой.

— Посмотри на себя! Кожа да кости остались! Совсем ничего не ешь! Помереть, что ли, хочешь?

— Нет! Нет!

Они долго спорят. В конце концов сын уходит за перегородку. Там у него кровать и стол. На столе какие-то бумаги. Весь вечер он проводит за этими бумагами и пьет, кружка за кружкой, чай. Старуха привычно сидит за столом, смотрит в окно, жует пряник. Жует мелко крошенный хлеб. Пьет молоко.

Проходит автобус. Старуха поднимается, подходит к сыну. Стоит, почти не двигаясь, смотрит на него. Молчит. Минуту, две, три...

— Ну чего стоишь над душой? — не выдерживает сын.

— Прости меня-я-я... — тянет старуха.

— Да ладно уж... Калоши-то сними, не ходи в них по дому.

— Прости-и-и меня-я-я... Прости-и-и...

— Калоши, говорю, иди снимай!

— Сниму. Сниму, — говорит она. Подходит совсем близко к сыну. Гладит по спине.

— Хороший, хороший, — говорит.

— Хороший, хороший, — посмеивается сын.

— Придешь? — спрашивает старуха.

— Приду, приду... Не мешай... Закончить надо.

Старуха садится на диван. Снимает калоши. Надевает теплые, мягкие, с ворсинками шерсти, тапочки. Ждет.

Потом сын открывает шкаф, достает оттуда фотографии. Их четыре большие стопки в полиэтиленовых пакетах. В шкафу, кроме фотографий, тетрадки с перепи-

санными стихами Есенина, тетрадки с песнями, тетрадки с заговорами, с молитвами, рецептами; церковные календари, иконки, молитвенники. И пыль.

Старуха с сыном сидят на диване и смотрят фотографии.

В одной стопке — армейские фотографии сына. В другой — фотографии с похорон. А есть еще стопка — там старуха, когда еще не была старухой. И коса у нее, такая коса...

Проезжает автобус. Через час проходит еще один.

Сын уходит на кухню и долго-долго заваривает чай.

А вот и последний автобус.

Вот он уже проехал обратно.

ПОМИНКИ

Старика Евгения Павловича мужики встретили в автобусе. От него и узнали, что умерла Вероника Геннадьевна.

Евгений Павлович зашел, можно сказать — ввалился в автобус. Прошамкал бурками по грязному полу, плюхнулся на сиденье. Мужики, стоявшие сзади, его сначала не признали. Мало ли таких вот, в подвернутых шапках, с бутылками, шастает по оттепели?

Автобус трясся, вздрагивал на разбитой дороге. Один из мужиков постоянно прикладывался к темной бутылке «Жигулевского» и никак не мог закончить рассказ о том, как на прошлой неделе «целую батарею прикончил» — то брался приклеивать постоянно отпадавшую желтую этикетку, то предлагал выпить своему товарищу. Но тот только отмахивался.

Автобус, объезжая речные низины, покачивался и скрипел, как трамвай. Темную реку иногда перерезал, едва достигая дороги, бледный отсвет фонарей из стоящих по берегу садов. Водитель ругался, клял темень, очередной потерянный субботний вечер и нагрянувшую вдруг оттепель. Из-за нее дороги днем превращались в кашу, но к вечеру подмерзло, и приходилось ехать чуть ли не по льду.

На одном из поворотов Евгений Павлович уронил открытую бутылку. Он наклонился и попытался ухватить дрожащими пальцами за склотовое горлышко. Тогда-то его и узнали мужики. Глаза его, всегда хмельного, слезились. Глаза его, всегда слезливого, хмелели.

— Что наделал? Ну что наделал? — закричала кондуктор. Подошла, подняла почти пустую бутылку.

— Я вытру давай! — невозмутимо бросил Евгений Павлович.

— Куда тебе, — ответила женщина. Хлопнула узкими степными глазами, потрогала ботинком образовавшуюся тягучую лужу и медленно пошла обратно.

— Мамаша! Мамаша! — хрипло, хмельно, слезливо выкрикнул старик — Мамаша!

Та оглянулась. Евгений Павлович достал из-за пазухи шоколадку в измятой, водянистой обертке.

— На!

Кондуктор спохватилась, вернула бутылку.

Евгений Павлович допил пенистые остатки. Обернулся, задумав положить стекляшку за соседнее сиденье, — тогда и увидел знакомых мужиков.

— О! Вы чего? — растопырил он руки, выбросив вперед пятерни пальцев. Бутылка опять упала, покатилась к дверям.

Старик поднялся и, переваливаясь, покачиваясь, будто был он не старик Евгений Павлович, а автобус, направился к мужикам. Проскреб истрепанными бурками по

полу, обхватил все поручни на пути, объятия воздушные свои разбросал, улыбку беззубую раскрыл, растопырил.

Поздоровались. Стоял старик покачиваясь, постоянно подгибая ноги, взмахивая рукой, как будто собирался опрокинуться.

— Выпей на, — протянул ему пиво Олег. — Откуда ты это?

— А... я от тещи.

— Как она?

— Да померла вот... Самая хорошая была баба!

— Как это?

— Да... сердце, говорят.

— Схоронили уже?

— Завтра...

— Обрато тебе ехать надо будет.

— Так да. Опять.

— Болела она, что ли?

— Вроде болела... Самая хорошая баба была, — ответил Евгений Павлович. Приложился к бутылке. Оступился на шаг, взмахнул призывно рукой. Мужики схватили его, не дали упасть.

Въехали в поселок. Навстречу шли снегоуборочные машины — гремели, скрежетали на всю округу, скребли по асфальту. На дорогу выпал темно-желтый от фонарей свет, покрасневшись на рябинах, забелел в сугробах, уходящих от света в темноту. Автобус остановился, прижался к обочине.

— Самая хорошая баба была! — повторил старик. Отдал пустую бутылку Олегу.

— Помянуть надо, — добавил и вытянул из кармана холодную, синего стекла чекушку. — Одарили на помин вот.

Машины прошли. Мотор взбрыкнул, низко взревел. Поехали дальше.

Бутылка не открывалась. Суетливо, в спешке — скоро выходить — пытались руками, зубами сорвать крышку. Старик достал откуда-то ржавый перочинный нож, не хотевший раскрываться.

— Ножик вот заваялся. Ха-ха.

Наконец открыли. Приложились по очереди.

— На запей, — протянул Олег старику пиво и еще раз хватил из чекушки.

— Да ты больше пей, — сказал старик.

— Да я же не напиваться... я помянуть.

— Нормально, хорошо давай помяни!

Олег хватил еще, передал чекушку своему молчаливому товарищу. Автобус наехал на кочку, бутылка ударила по зубам.

— На запей, — вернул Олегу пиво старик. — Ты тоже давай помяни хорошо, — сказал он другому. Потом добавил: — Самая хорошая баба была. Царство ей небесное, — и перекрестился.

— Во даешь, старик! Пьешь и крестишься! — удивился Олег.

— А чего мне? Я с утра у магазина потопчусь, кто и угостит. Одну маленькую, — сложил он щепотью пальцы, — и до вечера меня не видно, не слышно.

— Помирать-то не собрался?

— Мне ли помирать!

Товарищ Олега между тем достал из пакета еще бутылку пива. Открыл.

— Смори-ка, спряталась где, лисья морда! — обрадовался Евгений Павлович.

— Запить надо, — буркнул мужик.

— А что? Давай заьем.

— Чтоб не крепко было. Всем умирать, — произнес Олег.

Выпили.

— Останови, командир, на следующей! — прохрипел Евгений Павлович.

Уже в дверях на прощание, что ли, сказал:

— Самая баба хорошая была. Она, знаешь, что говорит, бывало: красоты, мол, не осталось совсем. А я ей: эх, Вероника, говорю, а имя-то, имя какое! Что ты!

— А сколько лет ей было?

— Самая хорошая баба была! — только и махнул рукой старик.

КАК БУДТО ЖИЗНЬ ПРОШЛА...

Помню, отец, ты рассказывал про мальчика на велосипеде. Мы тогда пошли на рыбалку, еще дядю Федю около нижней дамбы повстречали и спросили, куда он направляется. «Здравствуйте и до свидания», — ответил дядя Федя, подняв одну руку вверх. Он было и другую поднять хотел, но держал той литую, с темной, потрепанной деревянной ручкой косу. И ушанка, и старый залатанный пиджак, и брюки свои дубовые, и сапоги кирзовые были у него в пыли.

Ты, отец, всю дорогу рассказывал о том, что был такой мальчик — у нас и фотография есть, дома посмотри, — который катался на велосипеде по приречным полям, взбирался с угора на угор и зачем-то срывал ромашки. Мы шли — ты рассказывал. Мы раскладывали удочки, разматывали леску — ты рассказывал. Вот уже и поплавки красноголовые понесло по течению, над ямками, впадинками речными — ты все рассказывал. Ты, дорогой, милый отец, прежде так немногословно вспоминавший свое детство, разве что: «а мы в детстве то-то», «а мы в детстве так-то», «а мы сахар на хлеб крошили — вот хорошо было», «а мы картошку в чугушке варили, вот хорошо было», — теперь говорил и говорил.

Вот фотография: мальчик коротко стриженный, в пиджаке не по росту, в шортах, улыбается, показывает черно-белому фотографу зубы. Кепочка задвинута на затылок так же, как на другой фотографии на затылок задвинута фуражка пограничника. Но далеко еще до фуражки. Вот велосипед — тот рядом. «Кама» — написано на раме. Если приглядеться, можно и разобрать. Звоночек, катафоты красные, желтые. Все как положено. Хотя катафоты — это я придумал. У тебя еще не было их. А что было? Изолента на спицах — желтая, красная, синяя; обрезки телефонного провода — желтые, красные, синие...

Хотя, может, и это я придумал.

Для меня тот день на рыбалке стал далек. Что уж говорить о тех временах, в которых ты был мальчиком на велосипеде? Таких вчерашних, как будто жизнь прошла...

Солнце медленно опускалось за лес. Оно сядет — и станет темнеть, лес в сумерках заголубеет, тишина свалится на реку, поля, лес, поселок, церковь, белеющую где-то за рекой, — на нас. А ты все будешь рассказывать. Это я не забыл. И дядю Федю не забыл. Как его забыть?

Все детство я пробегал по улицам поселка в фуражке твоей пограничной, отец. В зеленой, с черным козырьком. А кокарда такая золотая, блестящая, с красной — рубиновой хочется сказать — звездой! Ребята, дружки мои, все просили дать поносить фуражку. Просил и дядя Федя. «Санька, когда фуражку дашь поносить?» — кричал он, завидев меня.

Уже старым, совсем старым помню я тебя, дядя Федя. Эх, пьешь ты все... То стекла пойдешь бить в доме. То начнешь бутылками в собак своих бросать — в маленьких колобочков, шариков, то и дело попадающих под машины. Чем же еще заняться,

когда жены нет, дети разъехались, хозяйства, кроме собак, никакого? Не картошку же садить круглый год? Только и пить, лежать на дремучем сеновале, курить, смотреть, как утром уходят пастись коровы. И как вечером возвращаются.

Скотину угоняли пастись за реку. Какие там были поля! — все донник да клевер, да не кипрей, не чертополох. Я ведь и сам сын своего отца, и у меня был велосипед — звоночек, катафоты красные, желтые. Все как положено. «Каскад» — написано на раме. Фотография почти новая, цветная. На этом велосипеде сорванец — видно же, что сорванец, вон коленка разбита, рот до ушей раскрыл, ну потеха. А катафоты, отец, я с твоего пыльно-красного «Урала» снял, на котором ты на покос ездил.

Полдень. Жаркий — хочется сказать: лиловый — день. Взобравшись на очередной угор, наконец-то вижу пасущееся неподалеку стадо. Коровы лежат — кто в воде, кто у берега, прижавшись к ивняку, втянувшись в его слабую тень. Взмахивают хвостами. А молодняк бегают, не успокоится никак. Глядят, удивляются на мир телята. Вот одинокого маленького человека увидел один и хочет, хочет побежать, подается вперед, не терпится ему посмотреть, кто это, что это. Косится на мать, а та — спит, что ли... Он уже срывается, но: «Гаврюшка (так тебя, эдак), куда, шальной!» — окликнет пастух. За ним и второй закричит: «Куда!» Пастухи сегодня отец и сын Самойловы. Оба худые, бородатые, с отеками от пьянства лицами. Почерневшие в июнь, в июль до того, что не разберешь, от солнца это или грязью они так обросли.

Ты, отец, как-то обмолвился, что Самойловы на самом-то деле плотники. Да еще такие, каких в округе нынче и не сыщешь. А почему коров они пасут теперь — ты не сказал. Рукой махнул только. «Нынче», — сказал ты. А сколько лет минуло с того «нынче» ...

Поднимаются коровы, мычат. Хочется сказать — трубят. Самойловы их вицами: «Куда! Куда!» Вот и телок провинившийся возвращается. И его пару раз вицей. Самойловы меня не очень жалуют. Это потому, что кручусь я, верчусь вокруг да около, еще и на велосипеде. «Беспокоишь только скотину», — это они мне так когда-то сказали.

Ну да ладно, пастухи выкупались уже, картошка скоро сварится, а пока полежать надо бы в теньке — жарко. А этот, на велосипеде, все стоит, смотрит... Чего высматривает? Поехал бы куда, что ли...

Ах, отец, а смотреть можно было долго! Так же, как долго длился этот полдень, палящий, знойный, парящий стайками стрижей, резко срывающихся вниз. И со всех сторон щебетание, стрекотание, гудение; и шмели, и стрекозы, и полевки, пробегающие по дороге, и воробьи, чистящие перышки в песке; следы от копыт на берегу и выгоревшая трава, еще не ломкая, но уже сухая; и пастушьи шалаши за каждым угором, осенью разбираемые ветром...

Ты же сам все это знаешь.

Вечером коровы возвращались без пастухов. Идут по дороге, мычат: где ты, хозяйка, хозяин, встречай меня. Машут хвостами.

Милка, Милка, Милка!

Марта, Марта, Марта!

Коровы и сами знают, куда идти. Хотя есть среди них такие бестолковые, что подаются на заречные огороды, за дамбу. Куда только не уходят.

Вечером дядя Федя лежит на сеновале. Лежит, курит. Покрикивает иногда.

Куда!

Я тебе сказал!

Здравствуйте и до свидания!

Эх, молодец!

Санька, когда фуражку дашь поносить?

Есть еще фотография, знаешь какая? Сейчас достану. Вот она. Там женщины в платках, платицах в горошек, в крапинку стоят на берегу. Раз, два, три, четыре. Одна даже половик в руках держит. Три тазика с бельем, две корзины плетеные. Залезшая на снимок обремененным, в щербинках и трещинках колесом тачка. Фотограф, наверное, стоит на мостке. Заводь маленькая, с черными — хочется сказать: гиблыми — оконцами воды. Здесь теперь неглубоко, но сильно заилено и заосочено. Торчат из воды рогозины. Это теперь. А ты, отец, рассказывал, что раньше совсем не то было, раньше...

Рассказывая про мальчика на велосипеде, ты, отец, и про мостки рассказал. Про то, что сгнили они, про то, как клали в тяжелые эмалированные тазики белье, ставили на тачку. Мыло, доску стиральную брали и — вниз к реке. Дорога пыльная, каменистая. Женщины идут, поют, смеются. На фотографии же — какие печальные, уставшие лица. Заезаешься — уплывет простыня, простыночка только что стиранная. Вот уже и не видно.

«А теперь и плыть некуда», — сказал ты.

Корзины плетеные в чулане висят, где полушубчик Игоревый. «Игоря не помнишь, поди?» — спросил ты тогда, отец. Как не помню? Помню, отец, помню! Я ведь и Игоря помню, и Мишу, и Вадика, и плотника Сергея Петровича! Лейтенанта Хохлова только вот не помню. Он ведь до моего рождения умер. Это ведь он посадил вон те две рябины. Растил их. Не растил — рóстил! Ты, отец, что-то еще рассказывал про него. Не помнишь? Тогда я буду вспоминать.

Каждый год, в самое разжаркое время, приезжает к матери погостить лейтенант Хохлов. Не всегда он лейтенант, но в этом году такой вот: две звездочки на погонах.

— Женился хоть? — спрашивает мать.

— Нет, — отвечает лейтенант.

— А мы с бабами на скамейке сидим вечером, — продолжает она, — смотрим — Пашка с женой выйдет на улицу, и целуются они! Вот завел бы себе жену, тоже бы целовался.

Выпьет Хохлов с утра. Проснется вечером, слышит — мать на кухне что-то делает. Встать бы, пойти к ней. Потом подумает: чего тревожить? Лежит, в окно смотрит.

Сойдутся у дома дяди-Фединого мужики. Сидят на дровах. Тлеют огоньки папирос, как свет вечерний. Стоит тихий говор. Но вот вдалеке, как будто за рекой, зачнется песня. Ее подхватят. Неумело, пьяными голосами тянется она. То затихает, то нарастает. Хохлов смотрит на мужиков — те поутихли.

Сидят. Молчат.

И тоскливо на душе становится у лейтенанта. И я не могу даже представить о чем он думает, отец. О стране, в которой слагают заунывные песни, о бесконечных лесах, полях, дорогах? О всех необратимых, неохватываемых просторах, что не могут выдуть ничего лучше себя?

Нет.

Все не то.

Тянется душный вечер. Тянется песня. Уже как будто сама, будто ведут ее только трава и деревья. Там другая пойдет, третья... И нет этой муке конца, как и бесконечным проселкам, остывающим к ночи.

Замолчат за рекой.

Снова слышно на кухне мать. Тихо-тихо разговаривают мужики. А то засмеются — звонко, переливчато, кашляя от папиросного дыма. Он, невидимый в июльской темноте, уходит вверх.

Смотрит лейтенант в окно, и так ему хорошо, что чуть ли не плачет. И хочется, чтобы не кончалось все это и длилось, длилось, длилось...

ДО ВОКЗАЛА

1

К вечеру брат приехал. Махнул рукой, высунувшись из окна машины. Я мигом нацепил ботинки, даже не попытавшись их завязать, наверное даже о том не подумав, и толкнул плечом дверь, ведущую в сени. На секунду остановился, оглядывая лежащие на полатах мешки с мукой. Может быть, остановка эта была связана с тем, что я вспомнил о незавязанных шнурках, а может, и нет. Я толкнул плечом входную дверь, прыгнул с крыльца через все его три ступеньки. И вот оказался на улице.

— Ботинки завяжи! — прокричал Вова. Но теперь уже я махнул рукой.

Брат посадил меня на колени, мы куда-то поехали — в один какой-то июльский день какого-то счастливого лета. И сколько же было лет этому мальчику, которого я так хорошо помню? Наверное, лет шесть. Он еще даже в школу не ходил.

— А мы куда? — спросил я.

— А до вокзала, — ответил Вова и засмеялся, широко раскрыв рот.

— Что это у тебя черное во рту?

— Зубы, которых нет, — намеренно прокартавил брат, придержав во рту букву эр дольше нужного, и засмеялся еще сильнее.

Интереса к шоферскому делу я не проявлял, поэтому вскоре оказался на пассажирском сиденье и стал смотреть в окно. Оказывается, есть еще что-то в мире, кроме дома, гаража, поляны перед домом, колонки, леса на горе, огорода с картошкой, рябины на огороде...

Я любил все это. Дом за то, что это дом. Поляну за то, что брат, приезжая, всегда оставлял на ней угловатую и блестящую «Волгу». Летом мы собирали в лесу ягоды и иван-чай, осенью — грибы. А еще в лесу были лиственницы с мягкими, пушистыми, почти что снежными иголками. На колонке можно было набирать воду. Зимой колонка замерзала, стояла обледеневшая, и за водой ходили на дальний колодец. Картошку я любил есть с молоком. Молоко пить прямо из литровой банки. А рябину любили грачи и снегири.

Я крутил железную ручку стеклоподъемника. Стекло опускалось и поднималось. Поднималось и опускалось. Ветра становилось то больше, то меньше. То он врывается к нам. То едва наддувал. Если высунуть голову в окно, ну хоть немножко, то можно, наверное, и захлебнуться воздухом. Двери машины были чем-то обиты, это что-то было в дырах. Иногда в таких больших, что я мог даже засунуть туда руку. Прямо как бардачок — открыть, пошарить, ничего не найти и снова щелкнуть крышкой.

— Что это? — спросил я про обивку.

— Кожзам! — выпалил брат и опять засмеялся. Я — тоже. Хотя не мог понять, что тут смешного и что это за такой кожзам. Вова, наверное, еще что-то говорил. Он все время что-то рассказывал. Жаль, не помню ничего.

В ту нашу поездку я так и не увидел города. Нет, конечно, раньше я видел город, но то был наш маленький город, куда мы часто приезжали. Вот он, совсем рядом. Оттуда в поселок ездят желтые и красные ЛИАЗы. Сзади у автобусов запасное колесо, словно приклеенное. Еще одно в салоне, на задней площадке. Мужики, когда заходят, всегда остаются там. Женщины садятся на большие, не очень мягкие, быстро нагревающиеся летом и оттого начинающие пахнуть чем-то сиденья. Видимо, тем самым кожзамом, про который говорил брат.

Ах, город моего детства, я тебя совсем забыл! Давно нет этих длинных, неповоротливых автобусов. Парк Победы, тенистый и заросший, перестроили: разбили до-

рожки, срубили множество деревьев. Снесли бревенчатые бараки, построенные еще немцами, эти обиталища плаксивых забулдыг и их кричащих на всю улицу жен, ведущих нетрезвых мужей домой...

Теперь здесь новый, из кирпичей песочного цвета, детский сад и маленькая разноцветная школа. И только так и не застраиваемый пустырь, заросший крапивой, пижмой и иван-чаем, напоминает о барачных двориках с их спрятанными в зелени качелями, скамейками; половиками, висящими на трубах. Нет и магазина «Есаул», где сперва нужно было идти в кассу оплачивать покупку, потом возвращаться к продавцу, показывать чек — и лишь тогда можно было получить товар.

Я знал этот город, я исходил, кажется, весь его асфальт, все выбоины, ямы и колдобины видел. И от этого город казался каким-то ненастоящим. Настоящим был тот город, куда мы ехали — большой, почти Москва, по крайней мере, в моем воображении. Там был даже вокзал.

Тогда я его не увидел — потому что заснул. Но когда открыл глаза, удивился тому, что дом наш вот он — за окном.

— Сморил? — спрашивает брат. А я улыбаюсь.

После мы много раз ездили до вокзала. Я рос, а люди, которые выходили из поезда, как будто и не менялись. Громкие, шумливые, они уверенно шли по перрону, обвешанные сумками, рюкзаками, чемоданами, садились в машину и ехали к нам домой.

Больше всего мне нравились долгие вечерние разговоры, в которых я ничего не понимал. Чайник свистел. Мама, то ли в платье, похожем на халат, то ли в халате, похожем на платье, заваривала в фарфоровом чайнике черный, со смолянистым запахом, чай. Рассказывали, отвечали, спрашивали, спорили, стучали по столу, не слушали друг друга, слушали, перебивали, молчали. Потом включали старую радиолу. Помнится, что там то пустела земля, то две девчонки плыли и плыли куда-то.

Но все это заканчивалось, чай допивали, разговоры умолкали — вот и неделя прошла, вот и вторая, может. Гости, к которым я не успел привыкнуть, уезжали — до новых гостей.

До вокзала.

2

Вова был старше меня на четырнадцать лет. Он уже жил отдельно от нас — когда пришел из армии, почти сразу женился. Половину переулка пройти — вот и дом. Двухэтажный, деревянный дом, в котором жил брат. Скрипучие ступеньки, взвизгивающая дверь. Шестикрестие высоких окон. Зимой, за дорогой, там, где тянется труба теплотрассы, наматает высокие сугробы. За трубами — гаражи. Напротив дома — деревянные сараи.

В гаражах — пыль, хлам, промасленное тряпье, гаечные ключи, сломанные табуретки, рваные холщовые мешки...

В сараях — изрезанные верстаки, разбросанный всюду опил, лопаты с потрескавшимися ручками, рваные холщовые мешки, хлам, пыль...

Брат не работал. Так, шабашил иногда: колол дрова, разгружал вагоны, сторожил что-то. Раз даже устроился почтальоном. Родители уговаривали Вову стать милиционером:

— Да ты сиди там, бумажки пиши. И все, — говорила мама.

Уговаривали и друзья, служившие в милиции. Брат долго сопротивлялся, но все же уступил.

Через две недели он запил. Его прогнали со службы. Он вообще много и часто пил. После пьянок не шел к себе, а отлеживался у нас. Помню, как он появился среди ночи, потом пришла фельдшерница и при тусклом свете керосинки, которую зажгли, чтобы меня не разбудить, зашивала Вове бровь. Я все равно проснулся и слышал ахи, вздохи, движение нитки, кажется, даже слышал, как игла входит в кожу. Керосинка шипела. Скрипели половицы — это отец ходил по комнате, качал головой. Бросал, останавливаясь:

— Да... тяжелый случай.

Мама вздыхала и ахала. Фельдшерница молча выполняла свою работу. Молчал и Вова. Только иногда едва слышно что-то произносил, начинал шипеть, как лампа, когда плескали на рану йодом из маленького, темного стекла бутылка. Горлышко у него было немножко отбито, крышка едва держалась, поэтому каждый раз заматывали бутылек изолентой.

Два раза брат попадал в больницу. Может, и больше, но помню только эти два.

В первый раз — сидел внизу в приемном покое маленький мальчик на зеленой низкой и длинной, почти во всю стену, скамейке, ждал, когда вернется мама. Больных часто приходили навещать. Иногда они сами спускались. Мелькали шляпы, платья, пиджаки; белые халаты суетливых и спешащих медсестер. Дверь на пружине хлопала, люди входили, выходили, принося с улицы нежный пыльно-яблоневый запах. Было в нем что-то от сирени и коротких майских ливней.

Второй раз — это когда в больницу нас не пустили. «Карантин», — отвечала на все мамины возражения полная санитарка. Складки на ее подбородке были похожи на ее же липовый нос. Вова сбросил в окно большой шуршащий пакет на веревочке. Он медленно, плавно планировал, качаясь в воздухе из стороны в сторону, и упал на траву рядом с машиной «скорой помощи». В пакет мы положили банку молока, предварительно обмотанную полотенцем, сигареты, еще что-то... Недалеко от здания стояли под деревянным навесом люди в белых халатах, курили и поглядывали по сторонам без особого интереса.

Я часто видел, как брата ругают за ту жизнь, которую он вел. Брат сидит на крылечке, молчит. Смотрит в сторону. Ругань затихает, ругатели расходятся, а он все сидит. Молчит. Вот сейчас встанет, посмотрит на меня, скривит улыбку и тихо уйдет.

Но всегда наступало лето. Июнь, июль... август, хотя ему не особо верили. Веяло от последнего летнего месяца затхлостью, пожухлые и опавшие листья виднелись все чаще. Совсем не то — темный, грозовой июль. Или июнь — картошку только окучили, гроз настоящих еще не бывало, все лето, вся жизнь впереди. Когда приходило время встречать гостей, мы снова ехали до вокзала. Тогда брату, кажется, все прощали. Ведь приезжали веселые, легкие, летние гости...

Прихода поезда мы ждали не на платформе и не в зале ожидания, а в бараке железнодорожников. В одном из стоящих напротив вокзала двухэтажном бревенчатом доме, на втором этаже, в светлой квартире, где окна постоянно запотевали, жил друг Вовы.

— Друг детства, — представлялся он и беззубо смеялся. — Добро пожаловать ко мне на Тверской!

Иногда Тверской становился то Бронной, то Ильинкой, то еще чем-то. Друг детства подводил меня к окну без крестовины и ручек — одно большое стекло, бог знает как держащееся в раме.

— Это вон Красная площадь, — показывал он на вытопанную поляну перед входом в здание вокзала.

— А это вон Мавзолей, — показывал он на дом, где жил начальник вокзала. — А вон и Ленин вышел.

Я помню этого маленького лысого человека. Казалось, он не шел, а катился, перекатывался — ощущение это возникало из-за большого живота, как будто старающегося вырваться из наглухо застегнутого пиджака.

Жена начальника вокзала — Надежда Константиновна, как ее окрестил Друг Детства, худая, с невероятно впалыми скулами, быстро, как трясогузка, семенила за мужем.

— И как она еще не умерла? — удивлялся Вова.

— Ничего, скоро помрет! — отвечал Друг Детства.

Иногда, когда начальник вокзала уходил, кто-нибудь из работников железной дороги оставлял цветы у дверей его каморки. Чаще всего это были одуванчики или ромашки, перевязанные промасленной травой. Бывало, и ее насыплют. Самые отчаянные срывали с привокзальных клумб розы и гвоздики. Однажды какой-то дурак даже разжег костер на лестничной площадке. Жильцы повыскакивали из квартир, под предводительством непонятно откуда появившегося Ленина затушили огонь. Хулигана побили и вытурили за пределы вокзала.

Само собой, у Друга Детства всегда находилось что выпить. Сидеть в квартире, слушать анекдоты, смотреть, как хозяин зачем-то колотит палкой по ковру на стене, надоедало. Я уходил на мост.

— Цветы возьми! — кричали мне.

— Зачем?

— У мавзолея положишь!

Мост начинался у вокзала и, пересекая железную дорогу, доходил вплоть до старого города, где стояли такие же, как у вокзала, деревянные дома. Их почти не было видно: все там тонуло в такой густой зелени, что было невозможно разглядеть даже окошки, светящиеся по вечерам. По мосту редко ходили. Почему — не знаю. Может, потому, что бетон ступенек крошился, а железо перил ржавело с каждым годом все больше.

Ступеньки крошились, перила ржавели. Несмотря на это, мост несколько не походил на старую развалину — бетонные опоры стояли крепко и прочно. Но люди шли в обход через пути.

Шли и смотрели на меня, что-то говорили — вроде «ты что там сидишь?» или «давай слазь!». Или проще всего: «дурачок». Я сидел, болтал ногами, свесив их вниз через ржавые решетки ограждений, и ничего не отвечал. Смотрел на поезда, на лица железнодорожников, на вокзал. Как я любил ходить по нему! Прислушиваться к гулкому эху шагов, скрипу дерева, ненароком повторяя чужие судьбы, задевая, обходя их. У здания вокзала были деревянные ступеньки. Перед ними — полянка с вытопанной травой, клумбы, на которых чем ближе к августу, тем меньше оставалось цветов.

И приезжали гости — все такие же вечные, и я снова жил от и до — от и до вокзала.

3

Не было такого лета — дождливого или жаркого, — когда бы не было гостей, когда не приходилось бы ездить до вокзала. А потом — провожать. Идти за поездом, за удаляющимся окном и, конечно, поднимать руку — помаши! Помаши! А в окне люди смотрят, тоже машут, вот они нас уже и не видят, а рука все не опускается.

Гости приезжали, уезжали. Уезжали. Приезжали. Брата все так же ругали. Все так же прощали. Он так же покорно молчал.

Сына Вовы я не раз видел сидящим на качелях с кастрюлей в руках. Там была манная каша в бугорочках и комочках. На газете около качелей лежала неровно нарезанная буханка хлеба. Павлик нагибался, брал кусок и бросал его, именно — бросал, в ка-

стрилюю. Ложку он зачем-то вытирал о штаны, а потом без тени сомнения засовывал в рот.

Днем Павлик катался на велосипеде по поселку. Вечером заходил к нам. Мама его кормила.

— Спасибо. Очень вкусно, — говорил каждый раз этот маленький, собиравшийся осенью идти в школу человек. Но оставаться отказывался.

— Я к папке, — говорил Павлик, насупившись. И ни разу не сказал «я к мамке».

Жену Вовы я редко видел — только когда она приходила за картошкой. Разговоров с невесткой мама избегала.

Вера нигде не работала и тоже много пила.

Она была маленькая, худенькая, с мышинным носиком и вербными, коротко стриженными волосами. Брови ее походили на полоски льняного жмыха, просыпавшегося на дорогу. Брат, думаю, не любил жену. Но они жили и не разводились. Жена брата, когда ее ругали, тоже молчала. Как будто хранили они какую-то тайну, которую можно постичь только ценой молчания.

Казалось, все будет идти, как повелось, несмотря ни на что. Будут приезжать гости, брата будут ругать, он будет молчать; Вера — ходить к нам за картошкой, а маленький Павлик каждое утро есть свою неумело сваренную на воде кашу.

Я рос, и мне все чаще не хотелось ездить до вокзала. «Надо гостей встретить, ездай давай», — твердила мама. Вот мы и ездили с Вовой.

Потом он разбил «Волгу».

К вечеру брат приехал.

— Поедешь? — сразу спросил он, зайдя в комнату.

— А куда?

— А до вокзала?

Я подумал, что Вова купил новую машину. Я каждый раз так думал. Но на поляне не было даже столь привычных, приминавших траву следов. Потом они сохли, трава желтела, а может, это сохла трава, а желтели следы. Мы пошли на остановку...

— Вот он и вокзал, — произнес судорожно на выдохе брат, когда мы доехали.

Это был летний вечер — простой, тихий и теплый. И было почему-то грустно в нем, особенно когда я смотрел на Вову. Ему, наверное, тоже было грустно, хотя лето еще не закончилось.

К Другу Детства мы не пошли — сели на скамейку перед цветочной клумбой и стали ждать. Объявили, что поезд опаздывает. Но когда он пришел, к нам никто не вышел. Мы ждали десять минут, двадцать, полчаса. Вова сходил в ларек, купил две бутылки лимонада, пачку сигарет.

— Пошли на твой мост, — предложил он.

Мост был все тот же, и видно с него было все то же. Брат открыл бутылки, и мы стояли на мосту — два человека — и пили дешевый лимонад. А сигареты так и остались в кармане. Потом пришел другой поезд, и Вова уехал.

Через несколько лет вокзал снесут и построят новый. И если я туда приеду, то не увижу моста — хотя бы по той причине, что его нет. И Вовы, и вечных гостей нет. И где он, старый начальник вокзала? И дом на Тверском пустует. Только и остается, что подойти к мужикам, стоящим около угловатой и блестящей «Волги», и сказать:

— Мужики, доведите меня до вокзала, я не знаю, где нынче вокзал.

РЯБИНОВЫЙ ДЕНЬ

Сосед рубил рябину. Звуки были совсем не похожи на привычный слуху плотницкий перестук топоров. Лезвие, видимо плохо наточенное, то и дело застревало в грубой коре дерева.

Сосед ругался, когда выдергивал топор, неизменно поминая в каждом ругательстве крейсер «Аврора». Где-то над домом каркала ворона — на каждый третий удар. А потом дерево затрещало и грянулось оземь.

Ворона отчаянно захлопала крыльями, снялась с крыши и полетела, беспрестанно крича на всю округу. Когда я посмотрел в окно, сосед уже обрубал ветки. Одним ударом, почти без замаха, торопливо отсекал все лишнее. И топтал, сам того не замечая, мелкие, невызревшие ягоды.

День этот я запомнил еще и потому, что мы с отцом тогда поехали на Черемшанку.

Он давно отвез маму в город и теперь ждал, когда я проснусь. Бабушка уже сготовила обед — толстые, с хрустящими поджаренными краями блины. Выставила на стол надоенное утром молоко.

Мотоцикл «Урал», вымытый, неделю назад лишь наново выкрашенный, стоял на улице. Железо нагревалось, большой и неуклюжий «Урал» сиял. И сам походил на светлый и солнечный день. Отец, должно быть, без конца курил — он много курил тогда или, как говорила бабушка, «смолил». Пачки сигарет — красная «Прима», темно-синяя «Балканская звезда», коричневая «Тройка» прятались между дровами в поленище. Она закрывала всю стену гаража со стороны двора.

Мне и самому хотелось научиться курить. Однажды я подобрал еще дымящийся окурочек, затянулся и сразу же закашлялся. Этого я не ожидал. Мигом забежав в дом, припал к умывальнику, стал жадно пить, заглатывать воду — не было времени брать ковш, чтобы черпать из зеленой ребристой кадки.

На Черемшанку мы поехали сразу после обеда.

«Давай, мол, залазь», — улыбаясь, кивнул отец на коляску мотоцикла. Я рад был этому редкому теплу. Раньше отец иногда брал меня на руки, подбрасывал к потолку, крутил над собой. Я летал и смеялся, видел белый свет сверху, видел, как кошка Муська бегаёт вокруг, как смеется мама, и сам смеялся.

В синем, казавшемся тяжелым шлеме было неудобно смотреть по сторонам. Когда ехали по поселку, я еще вертел шеей, но в лесу бросил это дело и стал смотреть только на руки отца. Его молодые, сильные, в выступающих венах, руки уверенно держали руль и спокойно выжимали газ.

Не помню, как выехали из леса на дорогу, но ветер подул в лицо с такой силой, что я стал захлебываться воздухом. Отец разогнал мотоцикл, мы переехали на скорости ручей. На меня полетела вода. До сих пор помню это — кристаллики воды в желтом отсвете солнца, пахнущие бензином.

Остов дома, единственный оставшийся от деревни, почти непроглядный из-за заросшегося ивняка, мне бы и не заметить, если бы не отец. Рядом был колодец с черными, обугленными, в шелухе гари бревнами. В воде плавала лягушка.

Отец рассказал, что там дальше выгон, поля, которые засеивали, и столбы телеграфной линии.

— Давай посмотрим! Давай посмотрим! — кричал я.

— Потом. Потом когда-нибудь...

Река Черемшанка оказалась мелкой, узкой, с едва заметным течением.

— Ой, щука укусила, ой, окунь, — подпрыгивал отец, выходя из воды. На меня летели брызги, я смеялся и смотрел на него — большого, сильного, молодого.

Обратной дороги я не помню. Помню, отец грустил, хотя небо было беззаботно-облачным, солнце светило легко. Казалось, захочешь — пойдет дождь, захочешь — будет жара.

Наверное, отец жалел о Черемшанке, об этой умершей деревне, и думалось ему, что старый дом и колодец — все это временно, все это ненастоящее. Придут люди, починят дом, выроят новый колодец и заживут старой жизнью.

Детское это воспоминание о поездке долго будет жить во мне. Когда-то потом, в осеннем безвременье, когда дожди уже закончатся, а снег еще не выпадет, я достану из чулана растоптанные отцовские сапоги и пойду на Черемшанку.

Тихо уже и спокойно в поселке: многие на зиму уехали в город. Воздух настолько хрупкий, что будто ломается, когда выпускаешь пар изо рта. Пар поднимается вверх и не тает, исчезая за гранью дыхания. Знакомые уже не кричат через дорогу «здорово!», а спокойно поднимают руку как приветствие не нам, но осени — «ну здравствуй, что ли». В лесу же совсем тихо, только сосны раскачиваются, потрескивая. А земля молчит.

Лес изъезжен. Везде ямы, колеи... Видно, лесовозы все идут и идут — то там вырубка, то здесь. Из-за этого я не всегда понимаю, куда идти. Но вот выхожу на вмерзшую в грязь осеннюю дорогу.

Вот и ручей.

Где-то там Черемшанка.

Полчаса, может, и час проброжу я около реки, продираясь через заросли низкого ивняка, но не смогу найти ни дом, ни колодец.

На обратном пути меня подберет лесовоз.

— Грибник, что ли? — спросит шофер и засмеется своей шутке.

Вот тогда-то я и вспомню стук топоров, каркающую ворону и жалкую, лежащую на земле рябину.

УТРОМ, ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

В саду я живу до поздней осени. Давно собран урожай. Дни стоят глухие, приземистые, прорезаемые, разве что свистом вечерней электрички и далеким, но ясным гулом ползущих куда-то товарняков. Небо мыльное, недвижимое. Это уже после того, как закончились затяжные октябрьские дожди и отошло последнее осеннее тепло. Проходит день, другой, третий, неделя... И вот ветер гонит с востока сизую хмарь — день и ночь, день и ночь; ветер крепчает, треплет подвязанные кусты малины, сбивает еще оставшиеся на ней листья. Возвращаются дожди. Мелкие, надоедающие, день и ночь, день и ночь, без остановки, без прогляди. Съезжают из садов последние жители.

Уже и печи по утрам топить некому, дым больше не поднимается над крышами садовых домиков. Не к кому идти пить чай стакан за стаканом, листать старые книги, газеты, не ушедшие на растопку, разговаривать не пойми о чем. Все разъехались. В саду остаются только я да сторож, заросший бородой нелюдим, отчаянный пьяница. Все эти дождливые дни он пьет, а я смотрю в окно, топлю печь, считаю дни до снега и читаю — беспросветно, до одурения.

Просвистит вечерняя электричка. Пройдут один, другой товарняки — и тишина. Разве что застрекочет сидящая на яблоне сорока. Пробежит, уткнувшись глазами в землю, собака. Мокрая и грязная. Все разъехались, кормить ее некому. Она уже успе-

ла одичать: завидев меня, вышедшего под дождь, шарахается в сторону и убегает. Куда? Сама не ведает, лишь бы дальше, дальше. И все оглядывается.

Но вот на день-другой прекращается дождь. Повисает над округой свинцовая хмарь. Я уезжаю. Печь к утру совсем выстывает. Я закрываю дом, ухожу — и не успеваю оглянуться.

Проселок расплылся, разъехался в грязи и лужах. С окрестных полей тянет низкий сырой туман. Все, насколько хватает взгляда, затянута белым маревом. Иногда на секунду, две, три дохнет чем-то далеким, забытым — как будто простыни постирали и развешали на улице посреди июня, только-только начавшегося.

Я еду в электричке, смотрю в мыльное, почти воздушное окно на промокший лес, осевшие поля, размытые дороги. И сады. Оставленные, пустые. В вагоне я один. Разве что зайдет на каком-нибудь забытом, похмельном полустанке пьянчужка. То ли в гости поехал он, то ли домой возвращается. Выйдет через пару-другую остановок.

— Пировал небось всю ночь, — скажет контролер ему, жалкому и безбилетному.

Эх, холодно, уже не завалиться ни под грушу, ни под куст смородиновый! На прощание пьянчужка подмигнет — мы, мол, и под сосной можем, нам все равно.

Не доезжая до города, выхожу. За дождевой дымкой он смутно виднеется в той стороне, куда уходят электрички. Полею я иду до небольшой, мутной от дождей реки. Дальше — несколько километров через негустой лес широкой, хорошо просматриваемой просекой. В конце ее, на косом пригорке, останавливаюсь. Это уже совсем рядом с городом. Ясно слышен доносящийся с дороги шум.

Здесь прибит к сосне деревянный крест. На нем выцветший фотографический овал. «Анастасия Федорова, — читаю я. — Похоронена в этом лесу». Фотография черно-белая. Волосы льняные. Я не знаю Анастасии Федоровой.

— Упокой, Господи, душу усопшей рабы Анастасии и всех православных христиан, — произношу и крещусь.

Под крестом врытая в землю автомобильная крышка и завядший, соломенный цветок...

В раннем, плохо помнящем себя детстве мы жили в саду до поздней осени. Дождливые позднеоктябрьские дни длились, дед ходил пить к сторожу, сторож ходил пить к нам. Потом мы уезжали. Сторож оставался.

Мы выходили из электрички и шли сюда — к этому прибитому к сосне кресту. Так продолжалось несколько лет. Потом дед умер. Я вырос и тоже стал жить в саду до поздней осени. И приходиться к Анастасии Федоровой раз в год.

Что это за девушка и кем она приходилась деду, я не знал. Да и приходилась ли кем-либо? Не раз листая семейные фотоальбомы, я так и не нашел ее.

Такой же одинокий, только вот безмянный крест стоял раньше под насыпью бывшей железной дороги около Красногвардейской ТЭЦ. По этой дороге когда-то возили торф с ширококореченских болот. И все еще на ней можно разглядеть следы от шпал. Да и они сами, чуть ли не столетние, обросшие мхом, рассыпающиеся в труху от неосторожных прикосновений, валяются под осевшей насыпью.

Безмянный крест был обнесен невысокой железной оградкой. Потом она исчезла. Исчез и крест. Проходя по насыпи, я грущу об этой безмянной могиле.

Грущу я и об Анастасии Федоровой. За крестом овраги, поросшие мелкими кустами крушины, черемухи и шиповника, тянущимися с вырубок. В оврагах битый кирпич, щебенка, гнилые доски...

Но скоро зима. Все это укроет снегом. Засыплет дороги, засыплет и мои следы на этой еще влажной, размокшей, пахнущей дождем земле.